

Александр Андрюхин

СТАЯ

седьмая книга стихов

1989

ПОЧТИ ПО КАВАФИСУ

— Что в городе так мрачно и убого,
В столетнем запустенье храм и площадь?

— Прошел слушок, что варвары уходят,
И вновь преобразится древний город.

— Кто оплевал святыни и бульвары,
Разграбил лавки, алтари и граждан?
Кто скорбь и страх посеял в горожанах?

— Те варвары... из прошлого столетья.

— Зачем сенат, как старый параноик,
Плетет свои бездарные законы
И сам же их, презрев, не соблюдает?

— Он ждет, когда нас варвары покинут.

— Что риторы достойные лепечут
Так нудно, длинно и плебейски лживо?
Кого сто лет дурачат, как младенцев?

— Тех варваров, детей степей голодных.

— Где вера в святость, смысл и добродетель?
Где книги мудрецов? И от кого их
Так чинно и упрямо старцы прячут?

— От варваров, чтоб не вбирали мудрость.

Ну, вот и день прошел. И слава Богу.

А следом — ночь... А варвары не вышли...

И лишь с восходом солнца догадались,

Что вымерли давно все горожане...

И только варвары одни остались.

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

Ржаво пушки лежат на земле,
и никто уволочь их не хочет.
Эта крепость горела в огне,
а теперь алкаши ее мочат.

Те ворота дубасил таран,
и топтали под ними кого-то.
Каждый в праве теперь, как баран,
удивляться на эти ворота.

И осталось ржаветь якорям
и цепям отцепиться от сует.
Как тоскуют они по морям,
да по ним уж никто не тоскует.

Ты причалить сюда не моги!
Берега и круты и скалисты.
Не разрушили крепость враги,
но, пожалуй, разрушат туристы.

Штукатурка летит, словно пух,
и церквушки ветшают плечами.
Говорят, что из них вышел дух.
Кто же стонет тогда тут ночами?

ПАРК им. СВЕРДЛОВА

В парке темном, тихом, томном
фонари разбиты вдрызг.
Свердлов снова просит слово —
бюст белеет, будто иск.

Кепку лихо нахлобучу —
ночь безумно хороша.
Силуэт луны сквозь тучу
виснет диском ПэПэШа.

Монументы смотрят тупо,
отдавая встречным честь.
Право, лучше к черту в ступу,
чем впотьмах сюда забресть.

В парке темном, тихом, томном,
что как черная дыра,
кто-то бродит диким сонмом,
что-то ищет до утра.

Щебет птичий, визг девичий
темноту прорежет вдруг;
без разбора и отличий
по глазам шарахнет сук.

Эка шельма, точно метит!
Свердлов, что же взгляд потух?

Фонари твои не светят —
только ноги потаскух.

Вот скамейка, жизнь — копейка,
мрак, в карманах ни гроша;
куст сирени, чьи-то тени,
две фуфайки, два ножа.

В парке темном, тихом, томном
не видать впотьмах ни зги,
лишь космические волны
странно давят на мозги.

Буду битым! Буду гадом!
Буду стойким, как мангуст.
Свердлов сверлит тусклым взглядом,
свой раскачивая бюст.

В век ракет, турбинных Яков
не хочу перо в живот!
Где ЧэКа, товарищ Яков?
ТэЧэКа... Молчит народ.

ТэЧэКа. В миру условном
хрип гортанный, ребер хруст.
В парке темном, тихом, томном
слово просит белый бюст.

ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

В Александрии курортный сезон!
Светится диктор центральной программы:
теплый песок, катера и панамы,
яхты и чайки, и волн перезвон.
Александрия — волшебный мираж!
Юлии рвутся, как в храмы калеки,
сжечь все великие библиотеки,
чтоб затащить Клеопатру на пляж.
Жаль Птолемеев. Никто не дожил.
Черные мальчики в воду сигают,
белые — в тьме всероссийской шныряют —
злоба за пазухой, в куртках ножи.
Вы, египтяне, вы были в гостях
в этой стране под разбойничьим свистом?
Если зарежут вас вместе с таксистом,
утром не скажут в своих новостях.
Дрыхнут менты по двором и лескам,
дрыхнут провинции, дрыхнут столицы.
Пляжи и девочки снятся милиции,
девочек утром найдут по кускам.
К смуте сигнал протрубил Карабах,
чтобы жиреть на убийствах и кражах.
Край Птолемеев нуждается в пляжах,
дети Мефодия — в красных гробах.
О, эта явь, что похожа на сон,
о, эта тяжесть, что давит на темя.
В дикой России неважное время —
в Александрии курортный сезон.

ТАНЦУЕТ ДЕВОЧКА

«По небу полуночи ангел летел...»

М. Лермонтов

Стегает площадку гром-хардовский кнут,
светильники под ноги бьют:
по лицам, по бедрам, плечам, волосам —
откройся волшебный Сезам!

Даруйте, жокеи, раскат дискотек,
замрите министр и Генсек!
Сегодня последний свершает каприз
пятнадцатилетняя мисс.

Коленки сверкают венчальным венцом,
кудряшки звенят бубенцом:
тут порох с огнивом и кровь с молоком —
товарищ, не стой дураком!

Дыханья слились, как четырнадцать Трой,
как будто Арагва с Курой.
Танцует девчонка пока что не с ним,
да где ж он? Откройся, сим-сим!

Забылась она, точно в детской игре,
не зная, что в темном дворе
флаконы от скуки колотят с утра
надравшиеся фраера.

Угрюмо они потолкнутся у стен,
как стая голодных гиен,
и там, за площадкой, у всех на виду
наткнутся на нашу звезду.

Потащат в кусты, будут лапать и ржать,
и будет девчонка визжать,
никто не услышит: ни бог, ни герой —
свинцовая ночь над страной.

В разодранном платье гиенова рать
оставит ее умирать
на грязном асфальте в долине Куры
под локоном черной дыры.

Даруйте, жокеи, раскат дискотек,
замрите министр и Генсек!
Последний свой танец танцует дитя,
в миры голубые летя.

СТАЯ

Саванна звенит от винтовочных шквалов,
но в нас не стреляют — мы стая шакалов.

Летим за добычей. Кто первый ухватит?
Мы стая! Нас много! На задних не хватит.

Что ждет нас — досада, расплата, награда ль?
Мы стая. Нас много. Сойдет нам и падаль.

Мы подлы от падали. Божье юродство.
Шакалу — шакалово. Льву — благородство.

Да здравствует падаль особ августейших!
В нас брезгают пулю. Да будет подлейший!

Трусим за властителем мягко, как гномы,
но рухнет властитель — сожрем и его мы.

И рвать из зубов друг у друга добычу
начнем по шакальи. Таков наш обычай.

Нас много. А степи пусты и пространны.
Не божьи мы твари — мы утварь саванны.

ПУЩЕ ХАНА

Ой, моталки, гой еси!
Что творится на Руси:
брат выходит резать брата —
Боже правый, упаси!

Ненавидит брата брат,
брат пришел разрушить град,
брат поскуднее Иуды.
Бейте нехристи в набат!

Ой моталки, гой еси,
стены рушь, руби, коси!
Кровь кипит, бурлит утроба,
туча прет, как крышка гроба,
злоба, злоба, злоба, злоба...
Боже, как там в небеси?

Ненавидит князя князь,
князь привел под стены мразь,
князь завистливей холопа.
Подлый, нищий, эй, вылазь!

На неделе на «страшной»
как ты тряс своей мошной,
но потешится отрепье
нынче с княжеской женой!

Будешь храмы златом крыть,
будешь медь в народ сорить!
Крови, крови, крови, крови —
зависть черную залить!

Поспешай и мал и стар
в стольный град глядеть пожар!
Летописцы за краюху
после спишут на татар.

Девки носятся визжа,
под хвостом зудит вожжа.
Говорят, душа под телом —
дырка будет от ножа.

Веселись, батрак, не трусь,
гогочи, холоп, как гусь!
Если вымрут все татары —
на евреев спишем Русь.

Бойся черта самого,
бойся Ирода того,
пуще хана, пуще Хама
бойся брата своего!

ПРЕДЧУВСТВИЯ

Россия в тучах и свинце,

Россия обезбожена.

Императрица во дворце

угрюма и встревожена.

Под петербургский перезвон,

под северное жречество

князя уселись слушать сон

праматери Отечества:

— Представьте степи и овин,

Урал, острог, боярышник.

Емеля, бывший щукин сын,

теперь масон и каторжник.

Бежал от стражи. Реку в брод

прошел. Солдаты в панике.

Теперь казаков и народ

мутит на диком Яике.

Но той же ночью тайный знак

был дан ему от Господа:

«Опомнись, черный вурдалак,

не пил ты крови досыта.

Не тронь России, черный вор,

оставь медвежье логово!

Крестьянам — крест, дворянам — двор,

царю — земное богово...»

Но гласу свыше на беду

он внял — как снам купечество,

и на Москву повел орду,

топя в крови Отечество.

Царица кончила, дивясь
вокруг себя и около,
поскольку час святейший князь,
давясь, катался по полу:
— Умру от смеха! Просто срам!
Послушайте, Галицкая!
Не смял России басурман,
но станет Русь мужицкая...

Россия в тучах и свинце,
и в колокольном жречестве.
Балы в Таврическом дворце,
потьмы в святом Отечестве.
Крым бел от дыма и шатров,
стволы торчат окурками.
С турчанкой тешится Орлов,
Румянцев бьется с турками.
Кутят князья, народ гудит,
Европы шлюют напутствия.
Императрицы лик сердит:
дурацкие предчувствия

ЧЕЛЮСКИНЦЫ

Кремлевская площадь увита флажками,
совдепия в снах и трудах.

А там, между полюсом и Соловками,
челюскинцы гибнут во льдах.

Метели звенят. Закордонные дамы
сминают платочки в горсти.

Летят иностранные в кремль телеграммы:
«Позвольте их души спасти».

Никто не растроган, не рад и не тронут,
лишь пальцы наркома дрожат:
«Да-да, очень скверно, челюскинцы тонут —
буржуи на помощь спешат».

Разгневанно кесарь сверкает глазами,
в Кремле ожиданье грозы.
«Спасибо за помощь. Мы сами с усами», —
шевелиются в карте усы.

Все гибнет. Серы в кабинетах портреты.
Глаза опускает народ.
По сейфам пылятся «дела» и «заветы»,
советы заморожены в лед.

— Прочь руки! — с надрывом воскликнут державным
кухарки. — Тут наши моря!

Не быть никогда в них судам иностранным!
(Ведь стыдно — кругом лагеря).

Метели свистят. В юртах дрыхнут эвенки.
В термометре скурвилась ртуть.
Поставить бы там же Челюскина к стенке,
чтоб знал, где, каналья, тонуть.

Зашторены окна Кремлевской палаты,
ЧэКа засыпает в кино.
Снега сиротливы, как Божьи заплаты.
Забейте в Европу окно!

Я К ИСТИНЕ ТОПАЛ

Я к истине топал стезею избитой,
я клен повстречал на рассвете.

— Да где же, — спросил я, — собака зарыта?

— Под каждым кустом! — он ответил.

Еще не опавший, не ведавший быта,
не знавший голодных и сытых:

— Под каждым кустом, — говорил он, — зарыта,
а сколько еще не зарытых...

Я славу презрел, светский гогот и биржи,
я к истине шел без оглядки.

Чем ближе я к ней подбирался, чем ближе,
тем злее хватали за пятки.

Я видел, минуя кусты и овраги,
как тропы Отчизны кривились,
и даже зарытые в землю собаки,
и те подо мной шевелились.

Из прошлого трель верещит кукарачья,
в грядущем грома сотрясают.

Собак ожидает кончина собачья,
а путника псы растерзают.

Я понял однажды, бледнея от злости,
не выйти живым мне из драки:

бредущие к истине — вечные кости,
а все остальные — собаки.

Прощай, неопавший! Уйду я незрячий
опять в бездорожные дали.

Ведь слеplено так в этой жизни собачьей,
чтоб истины мы не познали.

И ГРУСТНО И ГНУСНО

И грустно и гнусно. И некому лоб раскрошить,
когда не фартит и не светит.
Надраться? Что пользы за здоровье чье-то глушить?
Никто не воздаст, не отметит.

Мотать? На куда? В Аризону, в Женеву, в Париж?
С пустою душою и нищий?
Торчит из грядущего жирный и розовый шиш,
а в прошлом — сплошное стыдище.

Что правда? Когда-то вся кожа с ее кулаков
облезет от язвы желудка.
Мозгами раскинешь: ей богу, страна мужиков —
такая дурная и чья-то недобрая шутка.

УРКА ПОГАНЬИ

Урка поганый со взором квадратным,
с мордой брезгливой, визгливой гитарой,
что изрыгаешь с ухмылкой ондатры,
с тощей своей и нечесаной шмарой?
Пляшут на шее цепочки и броши,
плачут навзрыд малолетки и нары.
Разве гитара предмет выпендреша?
Свойство души человеческой — гитара.
Урка небритый в четвертом колене,
высокомерный, багровый с натуги,
выверни душу и сдохни на сцене —
к черту свои выворачивать руки!
Тихо Джоконда сползает по стенке,
сыплется пылью в тоске Нефертити.
Если плюете вы зрителям в зенки,
что же от зрителей, урки, хотите?
Лондоны, Бонны, Парижи и Бресты —
в кайфе весь смысл единения наций.
Хлещут с экранов бульварные тексты,
будто из прорванных канализаций.

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА

Целый вечер то бьется посуда,
то угар коммунальных горелок.
Я мечусь в ожидании чуда
и летающих в небе тарелок.

То на гвоздике вздрогнет «Кремона»,
то завоюет сосед в истерии.
За окном аномальная зона
с голубыми снегами России.

В ней давно ни души, ни контактов,
лишь контракты с фальшивкой о мире.
В ней тоска трансэкспрессов и тракторов
с голубыми снегами Сибири.

От исчадий устав и проклятий,
госграницами сжатый и СПИДом,
я живу в ожидании братьев,
породивших Сапфо с Еврипидом.

Аномально тут даже искусство,
что гранитные стены растило.
И убийственно в нас безрассудство,
но рассудка убийственной сила.

Я осипший, ослепший, без слуха
в небо зенки пустые тарашу –

жду, когда прилетят и за ухо,
как щенков, нас от блюда оттащат.

И какой-то космический Рюрик
нас потом для вселенной откроет.
Он спасет, он наставит, возлюбит
и рассудок в нас, грешных, уловит.

Тучи цвета винтовочной стали
землю в серые рядят одежды.
За окном аномальные дали
с голубыми снегами надежды.

ГРАНИЦА

Ты живешь на одном берегу,
я живу на другом берегу.
Только ты никому ни гу-гу,
только я никому ни гу-гу.

Я не стану душою кривить
и вопить на своем берегу,
что бессмысленно реки делить
и молоть наши пашни в муку.

Ночью звезды взойдут над леском,
приплыву я на лодке тайком
косу выменять на кочергу.
Только ты никому ни гу-гу.

Ты не станешь душою кривить
и крамольные мысли рождать,
а задумают мир разделить,
скажешь: сверху им лучше видать.

Нам до хруста сожмут кулаки,
сунут в руки потрепанный флаг.
Не серчай, если станем враги!
Говорят, ради наших же благ.

Друг на друга отправимся вброд,
от натуги осипнет кадык.

Ты мне пулю отмочишь в живот,
следом молча наткнешься на штык.

Будет ветер и темная ночь,
журавлей растеряется клин.
И твоя разрыдается дочь,
и уткнется в подушку мой сын.

Нас отыщут, отпишут строку,
побросают в могильный овраг.
Говорят, ради наших же благ.
Только ты никому ни гу-гу.

Но забудется все, и слезу
лишний раз не смахнут. И как знать,
через несколько лет на козу
сын захочет овцу обменять.

Он растопит в груди своей лед,
и тайком за кордон поплывет.
Пусть смутит его там, на камнях,
ваша девка с чертями в глазах.

ДОЛГИ ОТЦОВ

Аллее афганцев уж тысяча лет —
торжественно, тихо и в горле неважно.
В родимой Отчизне, пожалуй, все так же:
молчанье могил и болтливость газет.

Гранитную Родина ставит печать,
последнюю речь на могиле промолвив.
Притихли орелики, долг свой исполнив.
На то и убитые, чтобы молчать.

В Отечестве нашем ни зги не видать.
Как спится вам тут, молодые, что снится?
Еще не успели вы даже влюбиться,
когда же успели долгов нахватать?

Здесь матери стонут под трель соловья,
поэты кропают суровые стансы.
Какие ж отцы нахватали авансы,
что платят безмолвьем своим сыновья?

ВО ДВОРЕ

Гоняют мальчишки своих голубей —
восторг пороссячьей утробы!
Когда-то казался и свод голубей,
да выскребли все небоскребы.
Уж где нам творить? Дай, Господь, залатать
хоть небо в аттическом стиле!
Мы все полагали когда-то летать,
да ползать отцы научили.
Стряхни с меня тяжесть, крылатый мой брат,
как пепел с сырого окурка!
По небу блуждает завистливый взгляд,
но сыплется вниз штукатурка.
Сумеют ли свыше нам сытость простить
под блеск миллион калифорний?
Нам небом завещано крылья растить,
но держат бетонные корни.
Гоняют мальчишки своих голубей,
небесные сферы рождают.
Шесть пар голубых восхищенных огней
по серому небу блуждают.

ПО ПОВОДУ ГРЯДУЩЕГО

Европа, наверно, должна быть уверена в Висле.
Буддисты должны быть уверены в собственном смысле.

Должны быть уверены в Феликсе там, на Лубянке,
идущие к свету — в намеренье искреннем Данке.

И должен быть прапор уверен в Советском мундире.
Секс-бомба должна быть уверена в секс-бомбардире.

Монашка — в земной чистоте и небесном чертоге.
Монарх — в справедливости и всекарающем Боге.

И я, что бы дальше по жизни тащиться, как мерин,
в грядущем Отчизны родимой быть должен уверен.

В ОЧЕРЕДИ ЗА ПИВОМ

«Чтобы не было войны, нужно ворона убить...»

Б. Окуджава

Босоногая кошка бежит по хрустящему насту.
Синеглазый мальчишка лопаткой кромсает торосы.
Босоноги рябины, киоски, завмаги и бражные фляги...
Кумачовые флаги. И ворон, как прежде, над Родиной нищей.
Был Христос тоже бос, но не понял мужицкой он хунты.
Мужики держат банки, ждут пива и пропуска в высшую лигу.
Мужики держат власть, как в кармане немытую фигу.
Флаги выцвели. Ветер как прежде над Родиной свищет.
Где-то там за «Мартини» упали на столики боссы —
не босые, но бесы в них, язвы и гнойные свищи.
Не оставят они ворона без классической пищи.
Ах, ты голь! Эта тень обожает кружить над Россией.
Кумачевый плакат, подсыревший дукат, посиневшие губы.
Сзади хмуро молчат, и морзянку стучат задубевшие зубы.
Боже, душу твою закоптили мартены, КАТЭКи и трубы,
а утробу опять заливают отравой из мутного пива.
Здравствуй пиво, вино, борматуха, водяра, чинарик!
Атрибуты могучей, великой, бескрайней державы!
Только злоба в груди почернее всей блоковской злобы,
и предмет бытия прозаичней всей горьковской прозы.
Ой, ты грусть и тоска, и паденье досрочное в Лету.
Лупануть бы по ворону с воплем свинцовым дуплетом.
Только злоба внутри. В небе тучи безмолвны и драны.
Ах, ты голь! Неужели не сыщется в свете берданы?

НА НОВЫЙ ЛАД

В пух и прах развейся птица,
мир замри, как каланча!
Хочет молодец убиться
на тачанке с горяча.
Ты лети с дороги птица,
зверь беги во все лопа...
Пулемета ствол искрится,
точно риза о попа.
«Но, касатки! Аль от бегу
задохнулись на беду!
Ах, ты мать твою в телегу
с пулеметом на заду!»
Вот с разгона, да с размаху
под «едрит твою в качель!»
старый мир разрушим на ...,
превратив его в бордель».
По дворянской, белокостной,
по отборной и святой
застрочил с ухмылкой постной
мужичонка молодой.
Только пыль в степи клубится,
да уносит души в рай.
В пух и прах развейся птица,
зверь с дороги удирай!

РУСОФОБСКОЕ

Не люблю я Отчизну ни в лето, ни в стужу,
ни мореным, ни пьяным, ни трезвым с ранья,
как не любит свинарка зловонную лужу,
но зато обожает зловонье свинья.

Ни грядущая мощь, ни прошедшая слава
не колышут давно ни в мозгах, ни в груди.

Все куда-то заносит: то влево, то вправо,
и не знает в верхах, что грядет впереди.

Нужно быть без души, или быть сумасшедшим,
чтоб любить эту землю, жуя демидрол,
где все ветви в грядущем, а корни в прошедшем,
в настоящем — крушат как безумные ствол.

Я подумал однажды в страстную субботу:
сколько болью российской себя не гнои —
кто вчера разрушал, те пойдут в патриоты,
кто вчера орошал, те пойдут в холуи.

Будут новые муки, и старые беки,
и калеки, и вдовы, и слезы ручьем.

Был единственный где-то фонарь у аптеки,
да и тот раскололи вчера кирпичом.

Не люблю я Отчизну, но только сдаваться
и бежать за кордон — никогда, моя Мать!

Стиснем зубы, родная, чтоб к свету прорваться,
если нет — будем вместе с тобой умирать.

ЗЛОБА

Я не знаю, наверно отбыть
нужно мне хоть в какой-нибудь Питер.
Я спустился на Землю любить,
но лишь злоба струится под свитер.

Обряжусь ли, как Линь, в кимоно,
обреку ли себя на лишенья,
все равно, я тебе, все равно
лишь досаду несусь с раздраженьем.

И в бессмысленном этом «прости»
сколько фальши вселенской таится.
Я держал наше золото в горсти,
но тебе с самоварным лишь спится.

И с мечтою себя раздарить
я, как все, обитал у корыта.
Я хотел тебе небо открыть,
но к нему твое сердце закрыто.

До тебя не припомню, где жил,
кто друзья мои были, кто судьи?
С ясным взором к тебе я спешил,
возвращусь же с обугленной грудью.

РАЗУТ И НИЩИЙ

Я выгнан из редакции,
как гонят прочь расстригу.
Держал в руках я акции,
теперь держу я фигу.

Красотка апелляция
богатых клерков ищет.
В разгуле спекуляция,
а я разут и нищий.

Фонарь, проулок, изморозь,
проклятая аптека.
Я выщипан, как изгородь,
растоптан, как Сенека.

Асфальт разостлан кружевом,
а я устал, как лошадь.
Ах, был бы я Бестужевым —
отправился на площадь.

Собрал бы рифмоплетчиков —
пускай они узнают,
как их партаппаратчики
из пушек постреляют.

Советы и советчики,
клопы и кабинеты —

стране нужны газетчики
и не нужны поэты.

Бросаются газетчики
под холостые пули.
Стране нужны советчики,
советчикам — холуи.

Пускай поэтов заживо
загонят вновь в берлоги.
Плетут снежинки кружево
и заплетают ноги.

МЕТАМОРФОЗЫ БУЛЬВАРА

Снует по улицам народ
с печалью пуганых ворон.
Трамвай летит, как бутерброд,
обкусанный со всех сторон.
Усталость, ветер, упокой,
да искры сыплет с проводов.
Но эти молнии рукой
никто ловить тут не готов.
А город петель затяну-
ло ядовитое шоссе.
Печально гладит седину
та дама в белом, как безе.
Трамвайный столб, как перевер-
нутая ось координат.
И сукин кот, спустившись с гор,
обняться с бурей был бы рад.
И был бы рад порой ночной
пальнуть по Бронной и Тверской,
по винной лавке сволочной,
где угасает род людской.
А скоморох из шапито
кривую на оси чертит,
как тот художник, кистью что
картину гения чернит.
И лишь в подпольном варьете
такой же девичий минор.
Но зацепился за анте-
ну лунный диск, как за багор.

ВСЕЛЕНСКАЯ ЯЗВА

Мы все когда-то сдохнем,
но перед этим вдруг
ослепнем и оглохнем,
забудем, кто есть друг.
И звездная дорога
устанет нам светить,
поскольку больше Бога
утробу станем чтить.
Седую Лисистрату
зажарят на костре,
и плюнет в морду брату
сестра, а брат сестре.
И будет нас к ответу
лишь призывать беда,
чтоб после сбросить в Лету
без Божьего суда.
И на пустой планете
посадят корабли
наивные, как дети,
вселенной патрули.
Воскликнут: «Воскресайте,
антимирры и свет!
Плодитесь и рожайте!
Той язвы больше нет!»

ХОЧУ ЗАБЫТЬ

Хочу забыть ваш пряный хит
и торт слоеный к чаю.
Храни вас Бог. Пусть он простит.
А я вас не прощаю.

Как ваши желтые белки
мою смущали душу.
Но расставляли вы силки,
а я, как олух, — уши.

О вечно слезы ваших глаз,
микстура, водка с перцем
сжимала сердце. А у вас
что выбивало сердце?

Я вас жалел, для вас вершить
хотел я как Петрарка.
И жизнь готов был положить,
и было мне не жалко.

Тянулся к вам я, как огонь
Божественный на «амень»,
как тот слепец, кому в ладонь
предназначался камень.

Вползли вы в душу, как змея,
свои отмерив акры.

Как вы лукавили, а я
откупорил все чакры.

Репьем обида проросла,
быт превратив в клоаку.
Хотели сделать вы осла,
а сделали собаку.

Все ложь. Тоску могильных плит
по-прежнему педалю.
Хранит вас Бог, Пусть он простит,
а я прощу — едва ли.

ОТЪЕЗД

В последний раз с тобой прощаюсь,
и дверью хлопаю — в последний,
освобождаюсь, растворяюсь
в пространствах времени и сплетней.

О мир великого кочевья
в некочевой моей Отчизне!

Не дорожил, увы, ничем я
в пустой и грешной этой жизни.

Я принимал покой за скуку,
а счастье — за оскал Изопа.

Давно пророчили разлуку
нам звезды, сны и гороскопы.

Давно пора стать вождельнем
тебе в мечтах моих, без плача,
чтоб думать после с сожаленьем,
что вышло так, а не иначе.

Сейчас войду в вагон, и версты
навстречу кинутся рисково.

Пожалуй, врут все в мире звезды,
а впрочем, это и не ново.

Посадку жду, курю, печалюсь —
где смысл? Плечами пожимаю.

Я в сотый раз с тобой прощаюсь,
и в сотый раз не уезжаю.

ПО СЛЕДАМ ПЕСНИ ЦАРЯ СОЛОМОНА

Я покинул дом, в котором душно,
я ушел под дождь, который лупит,
чтоб найти на улице бездушной
ту, которая душа возлюбит.

Эй, водитель, лжет твоя кривая!
Рельсы холодны и мысли тупят.
Не возил ли ты в своем трамвае
ту, которую душа возлюбит?

Каждый пятый мается без дела,
каждый встречный сук соседу рубит,
каждая красotka любит телом —
где, которая душой возлюбит?

Вы, мадам, глядящая из «Форда»,
вспомните растерянное в барах!
Эй, пожарник... да какого черта,
если в душах нет давно пожаров?

Я протопал пляжи Волги, Камы —
залежи грудищ, ножищ и талищ.
Эй, товарищ, не встречал ли дамы?
Впрочем, брат, какой ты мне товарищ?

И молчат слоны и лают моськи,
пьют низы, верхи планету трупят.

Не видали ль, братцы, сквозь авоськи
ту, которую душа возлюбит?

Ночь спустилась для исповедальни,
зажигают свет, и бьют баклуши.
Леди ждут, пускающие в спальни —
где она, пускающая в душу?

Буду ночь искать свою голубу,
будут знать в лицо меня бульвары,
но менты втолкнут в УАЗик грубо,
вывернув и руки, и карманы.

Где она, которой вечно внемлю
в небесах, в морях, на грешной суше?
Я пришел из тьмы на эту Землю,
чтоб найти потерянную душу.

АНЖЕЛИКА

Давит сверху мирозданье —
время звездное грядет.
Очень юное созданье
по Москве ночной бредет.
Анжелика — чистый ангел,
просто кладезь спортлото.
Брось стрелять невинным взглядом,
я и так — как решето.
Брызжет искрами столица,
будто жир в сковороде.
Дернул черт тебя родиться
в этой каменной дыре!
Вьется локон как кавычка,
и ладонь твоя нежна —
обалденная москвичка,
ассирийская княжна.
Холод, ветер, тухнут спички,
мрак ларьков и бакалей.
Только хлопают реснички,
словно дверцы «Жигулей».
Небо в сердце, словно в плашку,
сыплет звезды из ковша.
Воссияй, твоя мордашка,
ассирийская княжна.
Пыль, метро, шарашет током,
бег нервозный, громкий рок.
Площадь — в три людских потока,
встреч — четвертый прет поток:

кудри, финки, шляпки кепки...
Анжелика, черт возьми,
разнесет потоком в щепки
наших судеб корабли!
На гранитные палаты
упадет граненый луч.
Улетай, пожалуй, в Штаты
и унынием не мучь.
Улетай, ночная пташка,
без раздумий и рожна,
симпатичная мордашка,
ассирийская княжна.
Где-нибудь на речке дикой
с очень милою женой
заболею Анжеликой,
ассирийскою княжной.
Вспомню мрачную столицу
и огонь шикарных глаз —
захочу поехать в Ниццу,
или в братский Арзамас.
Тускло сбудется желанье,
божья милость снизойдет,
и ничейное создание
по Бродвею побредет.

НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

Ночь подступает, впадая в амбиции,
тени кривляются, тени фиглярят.
Рыщет в проулках ночная милиция,
фары по урнам и лавочкам шарят.

Время замедленно, мысли рассорены.
Ночь. Начались милицейские ралли.
Если у винного двери подломлены,
значит кому-то судьбу подломали.

Фары нутро подворотен прошпилели,
пусто и тихо, ушли хунвейбины.
Если верховные власти завшивели,
значит низы поколотят витрины.

Следом — на толпы раскрошится нация...
Вздрагнет дежурный, немой от застенков:
— Пятый, сработала сигнализация...
— Трогай, родимый! Высаживай девок!

Звезды над городом, шорохи в рации,
город уснул, и в Уазике сонно.
Тихо, накурено. Дремлют акации.
Осень. Осины шуршат монотонно.

Пусто и тихо. Все в городе замерло.
Но, загулявший, блюди осторожность!

Мелкого жулика ждет уже камера,
крупного — Кипр и высокая должность.

Мелкий воришка витрины пококает,
крупный — сограждан пококает жизни.
Пусто и тихо. Под сердцем не екает.
Птицы попрятались. Выползли слизни.

Ночь продолжается. С постными лицами
тени заблудших прохожих мелькают.
Рыщет в проулках ночная милиция,
фары по урнам и лавочкам шарят.

УМЕР ПОЭТ

Умер поэт неизвестный, непризнанный,
старый, больной, небогатый, неизданный.
Все ничего... Все потом... Все уляжется...
Смерть и поэзия. Как-то не вяжется.

В церкви друзья отстояли повинную,
речь изрекли перед гробом недлинную.
Выпили, крякнули... Тьма глаукомная...
Смерть и поэзия? Что-то знакомое.

Заколотили. Ни капли учтивости.
И в мироздании нет справедливости.
Кончена жизнь без признанья никчемная.
Гроб опустили. Потухла вселенная.

Скатерть постелена, вымыта горница.
Завтра ни строчки, ни буквы не вспомнится,
имя сотрется без роду и звания.
Смерть и поэзия... Тьма мироздания...

СГНОИМ

Собратья по перу,
тамбовский волк нам фатэр,
и муторный завет
один на всех от Вия!
И как не велика
бескрайняя Россия,
поэту места нет
в родимой альма-матер.

Куда страну зовет
фальшивый блеск каратов,
к каким триумфам, что
всех в мире триумфальней?
Поэты здесь среди
рабов и бюрократов,
как будто между мо-
лотом и наковальней.

Угрюмая страна,
где тропы все тернисты —
катализатор бед
и всех астральных роков,
где в качестве волхвов
герои-коммунисты,
а экстрасенсы за
волхвов и за пророков.

Собратья по перу,
бродвей и монмартры
зовут давно! И ждут
порты, причалы, трапы.
Нас примут города,
которых нет на карте.
В гигантской же Руси
тамбовский волк нам — фатэр.

Нас примут, как своих,
Парижи и Лионы,
Нью-Йорки, Аяччо,
Афины и Сиднеи.
Сопьемся и сгноим
талант свой за кордоном.
На Родине его
гноить куда больнее.

МАФИЯ

Охрани страну, периферия,
от ново престольного кильдыма!
Мафия, наверно, как Россия,
никогда никем непобедима.
Есть войска особого значенья,
есть особы в черных «волгах» в штатском,
танки есть и странное стеченье
обстоятельств, словно в замке Датском.
Можно Римским папам дать по морде,
и Чикагским боссам дать по морде,
наркомафии порвать аорты,
но наркомной не свернете морды.
Можно даже придушить и змия,
выведа страну из спецрежима,
мафия же точно, как Россия,
никогда никем несокрушима.
И когда они как Лох и Несси
воссоединятся в дымке синей,
то, что вдруг получится из смеси,
станет в десять раз непобедимей.

СТЕНЫ

Лишь пустословие и хлам,
и ложь нетленны.
А тех, кто горний строит храм,
раздавят стены.
Угрюмы тучи над Невой,
и хмуры лица.
Взывать к душе — что головой
о стены биться.
Поэт, бродяга, вечный хам,
любимец лиры,
кому твой горний нужен храм? —
Нужны квартиры.
Нетрезв, небрит и без гроша,
на лбу две вены.
Кому нужна твоя душа? —
повсюду стены.
И эти стены — только лбом,
и больше нечем.
В ответ — по ребрам каблуком,
под дых и в печень.
Чем выше здания, друган,
тем души глуши.
Я бьюсь, как ложка о стакан,
о те же души.

ГЛАГОЛЫ

«Глаголом жги сердца людей...»

А. Пушкин

На Руси извечно голой
отглаголили глаголы:
гнать, дышать, держать, обидеть,
слышать, видеть, но терпеть.
За кордоном голосили:
«Чем же жгут сердца в России?» —
Пить, зависеть, ненавидеть,
падать, мучиться, не сметь.

В сонном царстве-государстве
помешались все на барстве:
обвести, втереть, возглавить,
подсюсюкать, оторвать.
Люд простой «отбрить» и кинуть,
оскотинить, в морду двинуть,
смять, навешать, обезглавить,
одурачить, обобрать.

Были души и порывы,
были срывы и надрывы,
но догнали, не простили,
затоптали, замели.
Гнать? Но дальше перекрыто.
Петь? Но горло под копытом.
И поэт теперь в России —
что бродяга в Сомали.

Торжествуйте, дыроколы:
в землю втоптаны глаголы!
Лечь костями за воскрешенье,
и лукавить упаси:
озарить, облагородить,
подхватить, услышать совесть —
то глаголы исключенье
во сегодняшней Руси.

Только вопль еще не слово,
разглагольствовать не ново:
видеть, слышать, горячиться,
зажигаться, сатанеть.
Буря, скоро грянет буря,
пусть сильнее грянет буря! —
Гнать, топтать, крушить, беситься,
ненавидеть, не терпеть.

ДЕМОКРИТ

Спит Фракия, спят мудрецы,
спит стража, вор в ночи затих,
гетеры спят, рабы, купцы,
поэт, зевнув, упал на стих.

Спят дети, трагики, певцы,
диктатор спит, посол, банщик,
спят площади, дома дворцы,
спит пьяный, нищий, ростовщик.

Спят в кабаках и на крестах
под стон, под птичью трель в тиши.
Все небо в огненных звездах,
весь воздух в атомах души.

Ночь в Абдерах. Философ хлеб
в вино макает в полусне:
«Кто смотрит и не видит — слеп,
кто видит молча — слеп вдвойне.

Пусть одурачен блеском плебс,
вином рубиновым — гурман.
Но мне мыслителю, о Зевс,
на что глаза? Глаза — обман!»

Ночь в Абдерах. Грядет гроза.
Сопит фракийская дыра.

«Пора выкалывать глаза,
пора, мой друг Левкипп, пора».

Кто смотрит и не видит — слеп,
пусть взор холодный — лоб горяч.
Несущий людям Божий свет —
единственный, кто в мире зряч.

Спит Фракия. Все в мире спит.
Вселенная свистит во сне.
Луна внимательно следит
за хлебом с пальцами в вине.

ОСАДА КАРФАГЕНА

Над Карфагеном полночь,
луна над Карфагеном.
От дыма в горле горечь,
от крови черны стены.
От страха бледны лики,
от слез святые тают.
Сегодня день великий:
жрецы детей сжигают.
Сегодня белы тоги,
что завтра? Огласите!
Примите жертву, Боги,
но город пощадите!
Но Боги так решили,
допив свои бокалы:
«Где львы когда-то жили,
пускай снуют шакалы.
Где раньше пели птицы,
пускай скулят гиены».
А жертвенник дымится
над лунным Карфагеном.
Ворвутся исполины
в назначенные сроки,
а дети так невинны,
а Боги так жестоки.
Гори же все на свете:
все жестко, мрачно, тленно.
Пускай не видят дети
паденье Карфагена.

В СОЗВЕЗДИИ КЕНТАВРА

Перед явлением Христа
в созвездии Кентавра
пророк пробормотал с листа
псалом от Александра.

Сквозь сон божественных литавр,
сквозь шорох звездной ночи,
подал свой голос Александр,
потупив смиренно очи:

— Да осветится путь во мгле
всем страждущим народам!
Нас было много на Земле,
откуда был я родом.

Под той же, солнечной пятой
всходило человечье.
Уж коих нет с планеты той,
да и она далече.

Где шпили башен и дворцы,
поэты где и судьи?
Ошибки делают творцы,
а искупают люди...

Обнял апостола Кентавр,
слезой смочив литавры.

Вздохнул печально Александр,
погладил бакенбарды.

— Как говорится: силь ву пле!
Вся соль — в насущном хлебе.
Нас было много на Земле,
теперь один я в небе.

Я вознесен, и, как музей,
пылюсь, не зная горя.
Сожрало всех моих друзей
космическое море.

О, не из той я чаши пил,
не в то ложился ложе!
Святой воскликнул Михаил:
— Да-да, я помню тоже!

Потупился. Персты вдавил.
Пригладил жидкий чубчик:
— Не стоит. Я там тоже был.
И звался я Поручик.

ФЕОГНИД

Тяжко, право, Феогниду
доказать впотьмах Аиду:
«Если золото фальшиво —
это смех, а не беда.
Но душа когда фальшива,
да, к тому же, жизнь паршива —
не родить собаке тигра,
раб всегда родит раба».

Даже голову упрямо
раб держать не хочет прямо.
Где ж из пламени нам знамя
выткать, вскинуть, удержать?
Путь кривей плебейской шеи:
то окопы, то траншеи.
Нет, платонов и ньютонов
можно только приглашать.

А надменные подонки,
что оставили обломки,
упиваются по мертвым
и плевали на живых.
От Нью-Йорка до Мадрида
не читают Феогнида.
Обескровлена планета
от ранений ножевых.

НА РАСКОПКАХ

Уползли в долину змеи
и ушла в Аид вода.
Предпоследний день Помпеи,
и последняя беда.
Смерть предчувствуют плебеи,
пьют патриции вино.
Предпоследний день Помпеи,
солнце бело, как бельмо.
Претор бледен и испуган,
претор знает, что труба,
лишь не знает, что супруга
любит черного раба.
Завтра в ночь — прощай, эпоха! —
у гордыни ты в плену —
завтра в ночь под суматоху
побежит она к нему.
Не спасут ни храм, ни Веды
этот город от беды.
Завтра сбудутся всем беды,
а влюбленным — их мечты.
У прекрасной, как Елена,
помпеянки бродит кровь.
Завтра первая измена
и последняя любовь.
...Их отыщут без печали
через пару тысяч лет.
Раскопав, пожмут плечами
археолог и поэт.

ПИГМАЛИОН

Тоскливо слушать рокот волн
на позабытом миром бреге,
где сотни лет, как ось в телеге,
торчит в песке Пигмалион.

Тосклива даль морская, где
ветра отсвистывают фуги
и корабли, как в центрифуге,
в кипящей мечутся волне.

Киприйский царь усталый взор
впивает в море, как пиявка,
и грустно думает: «Мерзавка»,
и ощущает свой позор.

Она ушла под фейерверк,
сказав: «Прости, люблю другого».
И сорвалась с двери подкова
и месяц над дворцом померк.

Она ушла, и на глазах
от скорби высохли заливы.
Унес с тем лавочником в Фивы
ее корабль на парусах.

Все возвращается в отлив,
с бедой, виной или повинной.

Лишь ты, творец, любви взаимной,
не жди, скульптуры возлюбив.

Погубят Землю гордецы,
что ужимают жизнь до книжки.
К скульптурам тянутся людишки,
к людишкам тянутся творцы.

Уж столько лет Пигмалион
ждет возвращенья Галатеи.
Похож на скорбный плач Медеи
соленый рокот черных волн.

ЖАННА Д,АРК

Теперь тебе не отречься,
не сгнить впотьмах бесславно.

Неблагодарное Отечество.

Ах, Жанна!

Лучина твоя истлела,
молчит угрюмая башня.

Святая юная дева,
мне страшно.

А ветер развеет пепел
и чуть содрогнется плаха.

Они тебя сунули в цепи
от страха.

Ты жертвой или расплатой
взошла на костер отважно?

Им сила твоя непонятна —
им страшно.

Быть может, потом дозреют
лопатки наши, как крылья.

Ведь люди, они звереют
с бессилья.

Вот пламя хохочет, мечется,
вся площадь — живая рана.

Неблагодарное Отечество!

Ах, Жанна!

ЛЕНЬ

Просыпаться не хочется в доску
ни с зарею, ни после нее.
Без любви, без надежды, без лоска
я влачу ежедневно вранье.

В тучах высь, и будильник под кляпом,
на окне раздувается тюль.
Эту жизнь то нахрапом, то храпом
осаждаю, дуря от «дуль».

Встал, зевнул, кинул взгляд на болото
за окном и помыслив, как жид:
«Там, вдали вроде брезжило что-то,
нынче только трибунно брюзжит».

Все не так. И горю я напрасно,
над свечою крутя виражи.
Что есть вера? Отсутствие ясно-
сти в жизни, как в теле души.

Под пятою крутятся городской,
думал к солнцу пробиться в ростке.
Жизнь — есть сон с непостельной тоскою,
но в постельной я гибну тоске.

В ШАХТЕ

Тут и дом наш родной, и кабак, и тюрьма,
только ахнула глыбой беда:
завалило живьем, всюду тьма, всюду тьма,
а впотьмах прорубаться куда?
От Нью-Йорка до Бона, от Фив до Твери
всюду тьма, да в колодцах земля.
И тускнеют на касках у нас фонари,
и не светятся звезды Кремля.
Ой тоскливо впотьмах от юродивых морд,
где мозги набекрень от газет.
Но тот божий придурок? Да как его, черт!
Откопайте! Он выйдет на свет.
Он затюкан, запуган, он вечно в козлах,
к нему липнут плевочки и грязь.
В прошлой жизни он был Карамазов-монах,
или Мышкин — припудренный князь.
Он и в морду не даст, и ему не дано
ни ужраться, ни сесть на иглу.
Но когда забивают орлы в домино,
он читает Петрарку в углу.
Ничего в нем от Бога, пророка, орла,
в нем не брезжит общественный стыд.
Но когда в перекурах все пьют из горла,
он долбаёт один антрацит.
С ним на ты Апполоний, Алкей, Каллимах
и вся римская в жилках листва.
Раскопайте, найдите, нашарьте впотьмах! —
Он нас выведет к свету, братва!

Он простит, если в шкуре шахтерской корпел.
Кто-то сверху, доверившись снам,
нашим лбом докопаться до сути хотел,
но могилу лишь выкопал нам.
От призывов в верхах, до набата в висках
суть одна — грызть утробы планет.
Лишь просвисты холопские в наших мозгах —
у того, у придурка, — просвет.
Лабиринт, подземелье, рутина, руда...
Всюду тьма... Да, ядреная вошь!
Сотни лет прорубаемся мы не туда,
и цена просветителям — грош.
Ни гроша не дадут за шахтерскую плоть
ни Минфин, ни Минздрав, ни герой.
Но любимцу не даст заблудиться Господь,
он направит Господней рукой.
Раскопайте, найдите среди глоток и харь,
что отпели червячный памфлет.
Он и Данко, и Дантэ, и Божий фонарь,
он нас выведет, братцы, на свет!

ВЕСНА

Опять сосульки капаят за ворот
и детвора щебечет у ворот.
Весна румяной девкой входит в город,
чтоб, наконец, людской воспрянул род.
Кто предрекал, что вечной будет стужа,
как хлопоты земные и бега?
Вместит сто пар кроссовок модных лужа,
но не вместит и четверти строка.
Кто столько блеска заточил в капли?
И что ей до того, в конце концов,
что мы бедны едва не с колыбели,
болея инвалидностью отцов?
Ростки любви уже под сердцем брезжат,
и мысль жужжит у лба, как стрекоза.
Весне плевать, что там кого-то режут.
Она улыбкой режет всем глаза.
Похожа площадь на тарелку с пиццей,
откуда шлют сугробы свой «пардон»,
и на деревьях распевают птицы,
преодолев таможенный кордон.
И школьники, забыв свои мороки,
«блестяшки» ловят в лужах на блесну.
Вам грош цена, товарищи пророки,
за то, что не пророчили весну.

ВИШНЯ

Когда цветет и пышет вишня,
и распускаются цветы,
кажусь себе я очень лишним
среди небесной красоты.

На этом празднике цветений,
где птиц сплошной переполох,
я весь увял от невезений
и от сомнений весь усох.

Мой мир дождлив и неэтичен,
его не грустно покидать.
Я восхищаться непривычен,
а лепестки привык топтать.

Я груб, угрюм. И неуклюже
рассыпан по свету, как ртуть.
Нарву цветов себе на ужин
когда-нибудь и где-нибудь.

В питейном, злачном заведении
хозяин жаден и хитер.
Он все небесное цветенье
в вишневый обратит ликер.

И наликеренный товарищ
двустволку со стены сорвет,

и никакая красота уж
наш мир убогий не спасет.

Зачем цветет шальная вишня
и бродит день навеселе?
Чтоб показать, какой я лишний
и в небесах, и на земле —

чужой, ненужный, неуклюжий,
как в никуда вселенский путь.
Но и меня сорвут на ужин
когда-нибудь и где-нибудь.

КОЗЕРОГ

Эй, созвездье Козерога,
где же звон твоих копыт?
Не пылит вдали дорога,
и пирога не скрипит.
Ясли б жить средь кипарисов,
иль пить в степи кумыс.
Ты же, брат, без компромиссов —
только вверх и только вниз.
Ружья чистят аксакалы
для козлиных именин.
Либо пропасть, либо скалы —
никаких тебе равнин.
Но в дали той неказистой
дай познать равнинный быт!
Как мои посыплют искры
из-под топота копыт.
Жизнь уныла, смерть костлява,
и вершина — как итог.
Скалы слева, скалы справа,
сзади пропасть, сверху Бог.
И на что мне эвересты,
если сладко жить внизу?
Но за льды и анапесты
я цепляюсь и ползу.
Что за странности, ей богу,
ввысь стремиться, как орел?
Был один их козерогов —
до Голгофы лишь добрел.

ЭТОТ МИР

Левитация — миф. Так кондовы и хрупки
наши кости, что только недуги нам множат.
Крылья голову кружат не больше, чем юбки,
и не меньше, чем черви сомнения гложут.

Тяготеем все больше к бетону и стали —
не к небесным просторам, зовущим к полету.
Сотни лет чертежи мы Дедала искали,
а наткнулись на новый проект пулемета.

ПОТОЛОК

Я полюбил валяться на диване
без дум, терзаний, мыслей и забот,
уставясь в потолок, где, как в нирване,
плывет светильник и диван плывет.
Я полюбил без зависти и злости
тупую праздность личного «вилка»,
как Гераклит игру с мальцами в кости,
познавший твердь земного потолка.
Я полюбил внимать и мыслить вяло,
зевать, вздыхать и подводить итог:
«Да, жизнь была. Да, я летал, но мало.
Я выше мог! Но чертов потолок...»
Я выше мог! Я читил свою планиду.
Но если рифмы, будто камни с Фан,
накатят вдруг, я отобьюсь! В обиду
меня не даст обломовский диван.
Я выше мог! Но кровь не закипает,
и потолок кладбищенской плитой
на кости давит. Ничего, бывает.
Не пробивать же мне его пятой.
Меня поймут в далеком Мирозданье,
меня простят, когда настанет срок.
Раз я дошел до «дурака валянья»,
то значит, я уперся в потолок.

К АВТОМОБИЛЯМ

А когда полуночные склянки пробьют
чебурашкам, степашкам и филиам,
вот тогда и, презрев общежитский уют,
мы потопаем к автомобилям.
Шеферюги поймут, не оставят в беде —
их сердца, как бутылки игривы.
Пусть утонут (не жалко!) в крепленном вине
некрепленные наши порывы.
Сатанинская прыть обожжет, как огнем,
и до боли захочется к людям.
Что отцы не допили, мы с Лешей допьем,
только петь мы с отцами не будем.
Сумасшедшая ночь и луна с придурцой,
и за пятки кусает горячка.
Третий вечер в окне надрывается Цой,
как забытая миром записка.
Будут уши опять в закордонной лапше,
и когда что-то тукнет под темя,
станет вдруг удивительно тесно душе
в удивительно розовом теле.
И такого оно натворит тут, братва,
и такого нажнет и накосит,
что вахтер с перепугу накрутит 02,
но нам нужно по банке 08.
В час рассвета, в прекрасный убийственный час,
головами в стаканы упруемся.
Если мы невзначай не сопьемся сейчас,
то потом, безусловно, споемся.

Если нас на измор не возьмет колея,
не собьют закадычные дружи,
то потом возвратят все на круги своя
центробежные всякие штуки.
Впереди лишь стаканы, за ними стена
и тоска пребывания на старте.
Нам завещана папами тропка одна,
будто армии Буонапарте.
Жаль не Цезарь я, ты — не Антонио Марк,
жаль, триумфы давно оттрубили.
Все дороги Отчизны ведут в таксопарк,
и да здравствуют автомобили!
За Отечество наше родимое пьем —
прослезившись, отцы обслюнявят.
Если нас не сгноят, не затопчут живьем,
то потом, безусловно, прославят.

ПОЧТИ ПО КАЛЛИМАХУ

Полночь во мне резвится,
будто грабитель в кассе.
Пусть тебе также спится,
как на моей террасе.
Руки мои в унынье,
тело мое в истоме.
Но не подбиты клинья
в этом утихшем доме.
Ходики бьют отвальню,
лампа торшеру снится.
Ты не пускаешь в спальню —
пусть тебе также спится.
Душу грызет пиранья,
плачет росой мята.
Тело твое, как пламя,
грустью ночной измято.
Сердце скулит и рвется,
полночь бездонно тонет.
...Как седина пробьется,
вмиг тебе все припомнит.

ПРОСТО ОСЕНЬ

(попытка сумасшествия в 12-ти стихах)

1

Я корчусь от боли, отравлен обманом.
Тоска бомбардирует грудь, как тараном.
Увидимся завтра, моя Клеопатра,
но противоядием будет ли завтра?
Все завтра! Сегодня не знаю, как быть мне:
по полу кататься ли, лбом в стену биться?
Смеяться ли, плакать, упиться с досады?
Лечу я, как в пропасть, в мирские разлады.
С приятелем ядом бы я поделился,
но катит он в небыль — я в быль покатился.
Очки его, щеки в бордовой помаде,
и с ним я, как Рокки, в боксерском разладе.
Тоска мне изгрызла всю грудь, как ондатра.
Как выжить до завтра, моя Клеопатра?
Забыла царица, что Цезарю снится.
Конечно, с царицей так может случиться.
Впадаю в нирвану: светильник и quadro...
Сожжет мою рану бесславное завтра...

2

Встану рано поутру,
занавеску отверну:
запотевшее стекло,

все, что было, утекло.
Выйду сонный на листву,
взглядом небо полосну.
Заталдычет воронье.
Вся любовь твоя — вранье.
Сяду в пыльное такси,
укачу на край земли.
Ветер листья разметет,
тропы наши расплетет.
Выйду где-то далеко.
Ой, как небо велико!
Затоскую, загрущу,
в куртке двушку отыщу.
Таксофонные ветки,
вслед — короткие гудки.
Запотевшее стекло,
запоздавшее «алло!»
Велогонная тропа,
я, ничтожнее клопа.
Просто осень, желтый дым.
Осыпается мой Рим.

3

Ты хочешь знать, как умер он,
великий Юлий?
Его насквозь прошпилил сон
имперской пулей.
Судьба крутила, как могла,
бросая в травы.

Но грудь вседушную прожгла
нимфетка славы.
И пробудился римский мэр,
как смех из плача,
и понял он, что лишь Гомер
один был зрячий.
Что власть и слава, для ослов,
для смертных — счастье.
И были потуги без слов
из римской пасти.
Гетеры бегали, визжа,
в цветах и просе.
Жизнь уходила. Приближа-
лась тихо осень.
Еще пылал Гефеста горн,
как наважденье.
Сон уходил. Душило гор-
ло пробужденье.
Еще не вытопан был сад
Милетской драмы,
но облуплялись от услад
святые храмы.
И в Лету канул блеск Афин
в насмешку Риму.
Рим — это осень. И за ним
все канет в зиму.
Еще имперский горн пылал
зрачками плута.
Но он все понял, и послал
гонца за Брутом.

4

Только в парк прикатила запретной тропой.
Озабоченно велик скрипел под тобой.
Озадаченно тополь от ветра дрожал.
Ты сказала: «Не ждал?» Я плечами пожал.
Ты сказала: «Скучала, измучалась ждать...»
Ветер листья срывал... Нам давно бы порвать...
Ты сказала: «Не веришь? В глаза погляди».
Боль стихала. И таяла горечь в груди.
«Не молчи, — ты сказала. — Разграбят твой Рим».
Я подумал: «Катись-ка, подруга, за ним!»
Ты сказала: «Он мне, как тебе какаду!»
Я подумал: «Ха-ха! Просто, поезд ду-ду!»
Ты сказала: «Он нудный, брюзга и бамбук!»
«Это слишком, — подумал я. — Все-таки друг».
Ты сказала: «Поверь!» Я подумал: «Вранье!
Просто осень. Я вечный патриций ее».
Просто осень. Листва, точно фишки лото.
Ну, чего ты лепечешь? Тебе я никто.
Ты свободно, а я... точно в сердце кинжал.
Так я слушал и верил. И тополь дрожал.

5

Знаешь, что беспечным
не о чем вздыхать?
Ведь с рассудком вечным
счастья не видать.
Хочешь, вместе плюнем

на мораль из пьес?
В кассу трешку сунем
и укатим в лес.
Там избушку знаю —
ни души вокруг.
Ни шагов, ни лая,
только дятла стук.
Ой, напьемся воли
вдоволь, без гроша.
От сердечной боли
отдохнет душа.
Будешь улыбаться,
по руке гадать.
За мораль держаться —
жизни не видать.
Мы прикатим в домик,
в тот осенний дрем.
Там отыщем ломик,
дверцу подопрем.
Хворосту накрошим
под лесной интим.
Спальники разложим,
чайник вскипятим.
Раскалится печка.
Сядем у двери.
Задохнется свечка —
черт меня дери!
Станет, как по Кристи,
тихо и темно.
Лишь снаружи листья

лягут на стекло.
Месяц залоснится,
сны заморозят.
Свитер задымится,
джинсы зашуршат.
Просто осень. Полно
Хворь держать в груди.
Кружат листья сонно.
Тихо! Не буди...

6

Скажи, а кто не без греха
среди желтых дебрей?
Пусть камень бросит тот! Ха-ха!
А лучше — жребий!
Ты, Клеопатра, хочешь знать,
где слава Рима?
Ее сгубила, будто гать,
твоя перина.
Рим задохнулся, как Пегас,
на перевале,
когда перину в сотый раз
рабы сбивали.
Гораций созывал на пир
и корчил мину:
«Отцы нам завещали мир,
а мы — в перину!»
Да, задохнулся мир в пыли
той ночью жаркой,

когда рассеялись вдали
созвездья аркой.
Весь благородный пух гусей
ушел в перину.
И канул в Лету Одиссей,
ты канешь в зиму.
В эпоху вмерзнут светлячки,
скует столетья.
Покроет льдом твои зрачки,
как берег сетью.
Да, было именно все так:
сквозь иней просинь.
Со стужей в лезбийский брак
вступала осень.

7

Ты ускользаешь. Я в тревоге,
угрюм, небрит, как из берлоги.
Когда целую, где витаешь?
Душой и телом ты моя,
но сжав в объятиях тебя,
сквозь пальцы тихо, как вода,
(я чувствую) ты убываешь.
Осатанел. Не ем, не сплю.
Я продал душу. Ты же знаешь!
Ты шепчешь на ухо: «Люблю!»
Я верю. Только почему
предчувствие, что ускользаешь.
В глазах твоих лукавства нет,

но что со мной? Никто не знает.
О мир бесчувственных калек!
...Так хищник убыстряет бег,
когда добыча ускользает.
От клятв твоих впадаю в транс.
Не лги мне! Время повиниться.
Кончай раскладывать пасьянс!
Любовь — как стерео баланс —
(но что в сердцах у нас творится?
Наверно, время ускользать.
Как бьются? Не дано познать.)
когда одно воспламенится,
другое станет остывать.
Но век в безумье пропадает!
В притворство бы с тобой не впасть.
Как осень в бешенство впадает,
так и любовь впадает в страсть,
когда без звука ускользает.
Куда брести с моей виной?
Я продал душу, ты же знаешь.
Попробуй, полукавь со мной,
риски протопать стороной.
Мы вместе бродим под луной,
но все равно ты ускользаешь.

8

Шлюха! Пронзило меня, как младенца.
Сухо во рту стало, екнуло сердце.
Друг, не женись на ней. С чувствами глухо.

Дай расскажу тебе что-то на ухо!
Что же бледнеешь, и ежишься что же?
Боже, как олух, обманут ты тоже?
Слушай, скажу... не хватает мне духа.
После дойдет оплеухой до уха.
Я убегаю под дождь, я не нужен.
«Шлюха!» — вопят издевательски лужи.
Хватит мне грязи. Свое я отплюхал.
Шлюха! Дождинки срываются глухо.
Шлюха... Один я. Вернуться б, да не с чем.
«Шлюха!» — внушаю себе я. Так легче.
Прошное — там. В настоящем разруха.
Шлюха! Все к черту! Прощайте! Ни пуха...

9

Ступай! Тебя я отпускаю.
Беги к нему. Не надо слез.
Вся извралась и истаскалась.
Не плачь. Не стоит. Вытри нос.
Припудри туш! Мой Рим не нужен.
Ступай! Смочи водой виски.
Заиндевею я от стужи,
а ты усохнешь от тоски.
Ах, это рабское болото —
круши, кромсай свободный Рим!
Как можно, возлюбив кого-то,
устроить жизнь свою с другим?
Конец империи и света.
И дни фальшивей ото дня.

Тебе прощаю рабство это,
но не прощу тебе вранья.
Не плачь! Не стоит. Кто осудит?
Все наши замки из песка.
Такого Рима уже не будет —
подделки будут и тоска.

10

Вот и все. Что еще.
Что-то в левом боку.
Может, совесть свербит?
Наконец-то, ку-ку!
Где ты шлялась, плутовка?
Я гол и избит.
Лишь досада осталась.
Досада и стыд.
Перед миром досада,
а стыд перед ним.
Оправдай перед другом —
разграблен мой Рим!
Впрочем, нет. Убирайся!
Хлепать буду сам.
Оправдание —
самый гнуснейший обман.

11

Дружище, мы не объяснились.
Сегодня поздно объяснять.

Что было — сплыло, не догнать.
Осталось плюнуть. Все приснилось.
Все та же сладость мимолетна,
все та же истина в вине.
Чего в глаза не смотришь мне
и руку тянешь неохотно?
Опять тропой бреду дрянною.
Хочу спросить, хотя грешно:
«С тобой ей также хорошо,
как было бешено со мною?»
Ты в снах своих не ту лелеял,
увы, не ты ее мечта.
Видать, не видел ни черта,
а может, видел, да не верил.
Убьют супружеские дрязги —
не извинить, не изменить.
Привыкли рабски лгать и жить,
привыкнем и любить по рабски.

12

И снова я корчусь от скуки и злости.
Мне некуда бросить усталые кости.
Удушены чувства все тем же фиглярством:
семьей, частой собственностью и государством.
Не будет мне завтра! Не знаю, как быть мне:
по полу кататься ли, лбом в стену биться,
смеяться ли, плакать, упиться с досады?
В мирских мы разладах. Да будут разлады!

СОДЕРЖАНИЕ

Почти по Кавафису.....	3
Старая крепость.....	5
Парк им. Свердлова.....	6
Перед телевизором.....	8
Танцует девочка.....	9
Стая.....	11
Пуще хана.....	12
Предчувствия.....	14
Челюскинцы.....	16
Я к истине топал.....	18
И грустно и гнусно.....	19
Урка поганый.....	20
Аномальная зона.....	21
Граница.....	23
Долги отцов.....	25
Во дворе.....	26
По поводу грядущего.....	27
В очереди за пивом.....	28
На новый лад.....	29
Русофобское.....	30
Злоба.....	31
Разут и нищий.....	32
Метаморфозы бульвара.....	34
Вселенская язва.....	35
Хочу забыть.....	36
Отъезд.....	38
Песня царя Соломона.....	39
Анжелика.....	41

Ночное дежурство.....	43
Умер поэт.....	45
Сгноим.....	46
Мафия.....	48
Стены.....	49
Глаголы.....	50
Демокрит.....	52
Осада Карфагена.....	54
В созвездии Кентавра.....	55
Феогнид.....	57
На раскопках.....	58
Пигмалион.....	59
Жанна Д,Арк.....	61
Лень.....	62
В шахте.....	63
Весна.....	65
Вишня.....	66
Козерог.....	68
Этот мир.....	69
Потолок.....	70
К автомобилям.....	71
Почти по Каллимаху.....	73
Просто осень.....	74